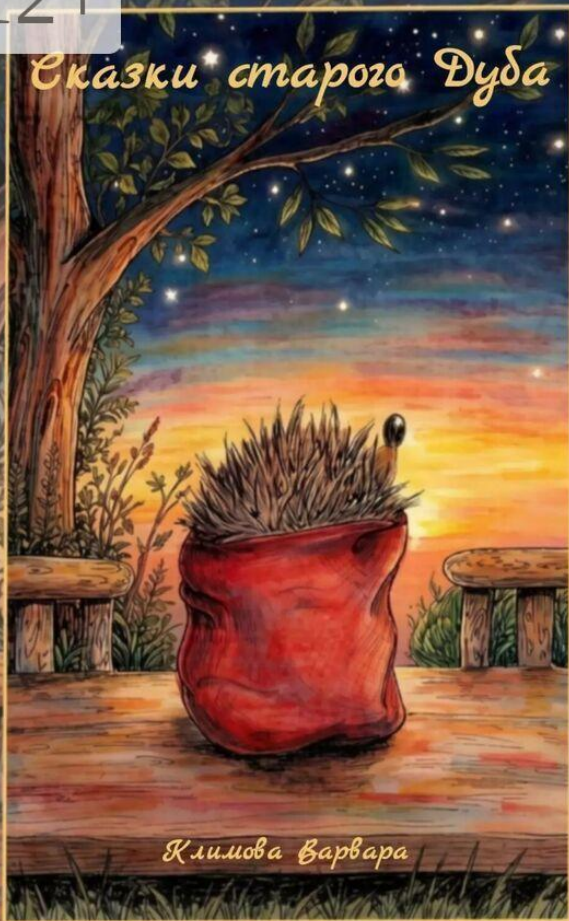


12+

Сказки старого Дуба

Климова Варвара



Варвара Климова

Сказки старого Дуба

<https://litres.ru/74370522>

ISBN 9785007104975

Аннотация

Когда наступает вечер и мир замедляет бег, можно услышать отголоски сказок, приносимые ветром.

Они негромкие. Они не торопятся. Они пахнут хлебом и мятой, дымом из печной трубы и первым снегом. В них живут те, кто пекут хлеб. Кто зажигает фонари, даже когда внутри темно. Кто боится — и всё равно идёт. Кто светит — и не знает, что его свет кто-то видит.

Это разговоры у печи, когда чай уже выпит, а расходиться не хочется. Это песня, которую слышно не ушами, а сердцем.

Содержание

Осенний вечер	5
Улыбка	8
Солнечные зайчики	14
Небесная печаль	21
Дядюшка Барсук	23
Зимний вечер	26
Странствующий Фонарщик	32
Туман	37
Звёздный пастух	41
Старый Дуб	46
Папа-мышь	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Сказки старого Дуба

Варвара Климова

© Варвара Климова, 2026

ISBN 978-5-0071-0497-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Осенний вечер

Как же уютно сидеть осенью на крыльце. Закутаться в тёплый плед. Любоваться закатом.

Лучи уходящего солнца смешиваются с золотом леса. Уже непонятно: то ли солнце заполняет собой всё вокруг, то ли лес освещает небо своим багрянцем.

Иногда Ёжику казалось, что солнце — это и не солнце во-все. А спелый, золотистый персик, который нечаянно закатился на небо из сада дядюшки Барсука.

Ёжик очень любил закат. Он приносил ему спокойствие и умиротворение.

Последние лучи солнца ещё касались стволов деревьев, а на небе уже появлялись первые звёзды.

Эти звёздочки напомнили Ёжику глаза Лисички. Такие же яркие и блестящие. Такие же тёплые и живые.



Как же ему захотелось, чтобы Лисичка оказалась сейчас рядом! Без неё даже закат был неполным. Как будто от него отломили кусочек. И унесли.

Она наверняка принесла бы с собой баночку брусничного варенья — терпкого, чуть горьковатого. А Ёжик заварил бы липовый чай в старом пузатом чайнике и нарезал толстыми ломтями хрустящий хлеб, от которого ещё шёл бы пар.

Он почти физически ощутил, как тёплая кружка грела бы его озябшие лапы. Как по кухне разлился бы ароматный, пряный уют. Но стоило повести носом — пахло лишь осенней листвой и холодным небом.

Он поднял глаза к небу. Звёзды-глаза смотрели на него ласково, с обещанием. «Когда-нибудь», — казалось, говорили они.

Но «когда-нибудь» не грело так, как грела бы она, сидя напротив.

В лесу стало совсем темно и холодно. Тёплая мечта растаяла. И только глазки-звёздочки, такие же яркие и живые, как у Лисички, по-прежнему подмигивали замечтавшемуся Ёжику. Мерцали — близко-близко, а не дотянуться.

Улыбка

Ветер гнал листья по дорожке, как волны по реке, и в этом движении было что-то древнее, что-то от самой жизни, которая тоже гонит нас по дорожкам, не спрашивая, готовы ли мы, — просто подхватывает и несёт, и остаётся только идти, перебирая лапами, и вдыхать осенний воздух, и думать о том, о чём думается только осенью, когда каждый лист, срывающийся с ветки, напоминает о том, что всё проходит, но в этом прохождении нет ни зла, ни печали, а есть только порядок вещей, который больше нас, больше леса, больше самого неба. Ёжик и Лисичка неторопливо шли, вдыхая осенние ароматы леса — запах мокрой коры и прелой листвы, запах последних грибов и первых заморозков, — и каждый этот запах был как ниточка, связывающая их с миром, с этим лесом, с этой землёй, с этой бесконечной чередой сезонов, что сменяют друг друга, не спрашивая разрешения. Лисичка собрала большой букет из листьев — жёлтых, оранжевых, багряных, — и в её лапах они горели, как маленькие костры, как последние отблески уходящего тепла, и она смотрела на них с той тихой радостью, которая приходит, когда умеешь видеть красоту в том, что скоро исчезнет. Солнце играло в прятки с редкими облаками, и свет его был уже не летним — ярким, настойчивым, требующим внимания, — а мягким, рассеянным, почти прозрачным, как будто оно тоже понима-

ло: пора уступать, пора отходить в сторону, пора дать место зиме, но перед этим — напоследок — коснуться всего, что любило его, нежно, бережно, как касаются лица уходя.

Ёжик был задумчив, мысли его были то в тёплом лете, среди луговых цветов и бабочек, среди долгих дней и коротких ночей, когда казалось, что время бесконечно и лето никогда не кончится, то уносили его в зиму — в ту зиму, что дышала уже где-то за горами, в ту зиму, что готовила свои снега и ветра, свои долгие тёмные вечера и колючие звёзды, — и между этими двумя полюсами, между летом и зимой, между прошлым и будущим, была осень, и он стоял в ней, как стоят на мосту, и не знал, куда идти. Дыхание зимы не приносило ему такого воодушевления, как Лисичке, — она видела в зиме уют, тепло очага, долгие разговоры за чаем, а он видел только то, что исчезнет: краски, звуки, свет, всё то, что делало мир ярким и живым.

Жёлтые листья напоминали ему стайки бабочек, которых он видел на лугу, и совсем не хотелось расставаться с яркими красками, с этим золотом и багрянцем, с этим последним праздником природы. Совсем скоро всё укутает снегом — не тем снегом, что падает мягко и празднично, а тем, что лежит месяцами, тяжёлым, белым, молчаливым, — и мир станет чёрно-белым, как старая гравюра, как рисунок углём на серой бумаге. Солнце скроется за серым покрывалом облаков — не на день, не на два, а на долгие месяца, когда небо

будет низким и плоским, как крышка, и свет будет умирать, едва родившись. И всё угаснет — не сразу, не вдруг, а постепенно, как гаснет свеча, когда воск подходит к концу, и пламя дрожит, цепляясь за фитиль, но уже знает: конец близок. Солнце, голубое небо, яркие бабочки и цветы — всё это уйдёт, спрячется, заснёт, и останется только память о них, а память — она и греет, и печалит одновременно, потому что напоминает о том, что было, и о том, что никогда уже не повторится. И Ёжик думал об этом — не словами, а как-то иначе, тем внутренним знанием, которое приходит не через ум, а через сердце, — и от этого знания внутри у него было и горько, и сладко, как бывает, когда смотришь на закат и понимаешь: он прекрасен именно потому, что уходит.

— Ёжик, пойдём!

Голос Лисички выдернул Ёжика из хоровода мыслей — не грубо, не резко, а так, как выдёргивают занозу: быстро, чтобы не было больно. Он посмотрел на неё удивлённо, как будто давно не видел — а ведь они шли рядом всё это время, но он был так глубоко в себе, в своих осенних размышлениях, что почти забыл о ней, и теперь, увидев её — покрасневшие щеки, букет листьев в лапах, улыбку, — он словно проснулся, словно вернулся откуда-то издалека, куда не ходят вдвоём. Лучи солнца бегали по деревьям и тропинке, и в их свете Лисичка казалась частью этой осени — такой же золотой, такой же тёплой, такой же уходящей и одновременно вечной.

И они пошли — не назад, не вперёд, а просто дальше, потому что дорога не спрашивает, готов ли ты, она просто длится. И Ёжик подумал — не словами, а тем самым внутренним знанием, — что зима не так уж и плоха. Что у неё есть свой смысл, своя красота, своя тишина, которая не пугает, а обнимает. Они будут сидеть на кухне у Лисички долгими зимними вечерами, когда за окном — тьма и снег, а внутри — свет и тепло, есть ароматное варенье из пузатых баночек, тех самых, что стояли в подвале, и говорить, говорить, говорить — обо всём и ни о чём, о прошлом и будущем, о лете и зиме, о бабочках и снежинках, о том, что всё проходит, и о том, что всё возвращается.



Ёжик улыбнулся — не широко, не громко, а той самой улыбкой, что приходит из глубины, из самого сердца, — и эта улыбка теплом разлилась в сердце Лисички, и она не знала, что он подумал, но почувствовала всё без слов, потому что есть вещи, которые не нуждаются в словах, — они просто есть, как осень, как зима, как тепло, что двое носят в себе и передают друг другу молча, от сердца к сердцу.

Солнечные зайчики

Всё утро Лисичка хлопотала на кухне, и в этой хлопотливости была не суета, а та особенная, радостная собранность, что приходит, когда ждёшь дорогого гостя и хочешь, чтобы всё было хорошо — не идеально, не напоказ, а именно хорошо, по-настоящему, от души, чтобы гость вошёл, вдохнул, улыбнулся и сказал: «Как у тебя тут уютно». Брусничное варенье уже стояло на столе — тёмно-рубиновое, терпкое, оно переливалось в стеклянной вазочке, как драгоценность, и солнечные зайчики то и дело подбегали к нему, заглядывали внутрь и отскакивали — не потому что боялись, а потому что им казалось, будто варенье подмигивает им в ответ. А из печки доносился аромат хлеба, и аромат этот был таким густым, таким тёплым, таким домашним, что даже старые половицы, казалось, потягивались от удовольствия и вспоминали, как сами когда-то были молодыми деревьями.

Солнечные зайчики бегали по скатерти, как дети, которых отпустили играть на большую поляну и сказали: «Делайте что хотите, только дом не разнесите». Они появлялись ниоткуда — просто солнечный луч пробивался сквозь занавески, падал на стол и рассыпался на десятки маленьких световых пятнышек, которые дрожали, перемигивались, перебегали с места на место, будто у них была какая-то очень важная, со-

вершенно неотложная игра. Им всё не сиделось на месте — они так и норовили запрыгнуть в чайник с мятным чаем, и когда одному из них это удавалось, чай на мгновение вспыхивал изнутри, как будто в нём зажглась крошечная звёздочка, а остальные зайчики замирали в восторге и думали: «Вот это да! Вот это трюк!» А потом самый смелый из них разбежался и прыгал прямо в сахарницу — и выскакивал оттуда, весь в сахарных блёстках, и другие зайчики смотрели на него с уважением и чуть-чуть с завистью.

Они очень любили играть в прятки на столе, здесь было очень интересно: чашечки в цветочек на разноцветных блюдах — чем не домики? Сахарница с ягодным узором — чем не дворец? А промежуток между чайником и вазочкой с вареньем был у них «тёмным лесом», хотя на самом деле он был самым светлым местом на всём столе, но зайчикам нравилось думать, что они там прячутся от кого-то страшного, хотя бояться им было совершенно некого. Они были единственными живыми существами в этом солнечном мире — не считая, конечно, Лисички, но Лисичка не в счёт, потому что она была большая и занималась своими большими делами, а зайчики были маленькие и занимались своими маленькими, которые, как известно, ничуть не менее важны.

Почему на столе была сахарница — для зайчиков оставалось загадкой, и они могли спорить об этом часами, если бы

умели спорить и если бы у них были часы. Хозяйка сахар не ела — это они знали точно, они видели, как она пьёт чай: просто чай, без всего, разве что с мятой. Ёжик предпочитал варенье — это они тоже знали, потому что когда Ёжик приходил в гости, варенье исчезало из вазочки с удивительной быстротой, а сахарница оставалась нетронутой. Так зачем же она стояла? Может быть, это была сахарница для красоты? Может быть, это был тайник для сахарных секретов? Может быть, в ней когда-нибудь поселится крошечный сахарный народец и устроит там своё королевство? Зайчики не знали ответа, но это им и не мешало — наоборот, загадка делала сахарницу ещё интереснее. Стояла она — красивая, с ягодным узором, — и зайчикам это нравилось. Им вообще многое нравилось в этой кухне.

Ох, сколько же разного варенья было у Лисички! Зайчики хорошо изучили эти разноцветные баночки, потому что зайчики вообще были любопытными и любознательными, и каждая баночка была для них как книга — только не из букв, а из цвета и запаха. Розовое земляничное — пахнущее летом, да так, что если закрыть глаза и вдохнуть поглубже, можно было представить себе луг, полный спелых ягод, и солнце, и ветер, и жужжание шмелей. Оранжевое яблочное — кусочки в нём были похожи на прозрачный янтарь и пахли спелой осенью, и зайчики иногда выстраивались в ряд и смотрели на эту баночку, как смотрят на закат: молча, восхищённо, не в силах отвести глаз. И даже варенье из инжи-

ра, что хранилось в маленькой пузатой баночке, перевязанной зелёной ленточкой, — оно было таким загадочным, таким нездешним, что зайчики относились к нему с особым почтением и старались не прыгать слишком близко, чтобы не потревожить. Его принёс дядюшка Барсук на день рождения Лисички — вырастил инжир у себя в саду, и как ему это удалось, никто не знал, а зайчики, которые вообще-то знали всё, что происходило в лесу, на этот раз только разводили лучиками и переглядывались: это было одно из тех чудес, которые не нуждаются в объяснении.

Заскрипела дверь — и этот звук был для зайчиков как сигнал, как фанфары, как объявление о начале чего-то важного. Молодой ветер влетел в кухню — тот самый, что вечно спешил, вечно разносил новости, вечно путал причёски и шевелил страницы книг, которые никто не читал, — встрепенул край скатерти и распугал солнечных зайчиков, которые брызнули в разные стороны, как брызги воды, и попрятались кто куда: кто за чайник, кто за сахарницу, кто под блюдце. Это пришёл Ёжик, он держал в руках огромный подсолнух — такой огромный, что за ним не было видно самого Ёжика, только лапы и кончик носа, — и деревянную лошадку, которую вырезал всю прошлую неделю и теперь нёс с той особенной, немного застенчивой гордостью, с какой несут подарки, сделанные своими руками.

— Добрый день, Лисичка! — сказал Ёжик, выглядывая из-за подсолнуха, и вид у него был такой, будто подсолнух решил зайти в гости сам, а Ёжик просто оказался рядом.

— Заходи! — Лисичка засмеялась, и смех её был как колокольчик. — Ты как раз вовремя, у меня уже хлеб поспел, с хрустящей корочкой, как ты любишь. А подсолнух — это что, твой новый друг? Он тоже будет чай?



— Подсолнух — это для красоты, — с достоинством ответил Ёжик. — А лошадка — для игры. Я подумал: у тебя много варенья, а игрушек мало.

— У меня есть сахарница, — сказала Лисичка. — Она не игрушка, но зайчикам нравится.

— Зайчикам многое нравится, — согласился Ёжик, — но

лошадка не помешает.

Ёжик нашёл в углу вазочку и поставил цветок, и подсолнух засиял на кухне, как второе солнце — только не горячее, а тёплое, и не далёкое, а совсем близкое, такое, которое можно потрогать лапой. А зайчики, оправившись от испуга, с любопытством наблюдали из-под занавески: где будет жить новый обитатель дома — деревянная лошадка? Она была не похожа ни на одну из баночек, ни на чашечку, ни на сахарницу — она была совсем другой, у неё была грива, вырезанная из коры, и глаза-точки, и четыре крепких ножки, и зайчикам казалось, что она вот-вот сорвётся с места и поскачет по столу, распугивая блюда. Им не терпелось с ней познакомиться и поиграть, пока хозяйка будет хлопотать по дому, — они уже представляли, как заберутся на неё верхом и будут скакать наперегонки, от сахарницы до чайника и обратно, — но пока нужно было немного подождать. И зайчики ждали. Терпеливо. Почти.

Небесная печаль

Ёжик шёл по лесу, и осень обнимала его со всех сторон — хмурая, пасмурная, пропитанная запахом мокрой коры и прелой листвы, — и в такие дни, когда небо затянуто тяжёлым серым полотном, а свет едва пробивается сквозь облака, ему всегда думалось особенно глубоко, особенно медленно, словно мысли текли не в голове, а где-то вокруг, смешиваясь с туманом и моросью.



Он думал о том, что осень — это время, когда небо плачет дождём. Серый, тяжёлый взгляд небес устремлён на суету этого мира. Люди идут по слезам неба и видят его в отражении луж под ногами. Небесные слёзы пытаются вернуться в лоно своего создателя и воспаряют туманом ввысь.

Ёжик остановился, глядя на мокрую тропу, на лужи, в которых дрожало небо, и подумал ещё — о том, что осень ловит людей в клетки печали, заточая их в паутину тумана и собственных мыслей о несбыточном и потерянном. Небо видит этих несчастных и плачет, плачет дождём. А люди снова и снова идут по лужам, в которых отражается небо, не понимая, что они идут по небу. По прекрасному небу, которое свободно, и люди могли бы быть свободны, если устрелят свой взгляд ввысь.

Он поднял голову, чувствуя, как капли падают на мордочку, и долго смотрел в серую, бесконечную глубину, где за облаками, наверное, пряталось то самое прекрасное небо — свободное, светлое, ждущее, когда кто-нибудь наконец поднимет глаза.

Дядюшка Барсук

Вот и выпал снег, далеко не первый в этом году. Пушистый, искрящийся на солнце и пахнувший морозом и свежестью. Дядюшка Барсук вышел на крыльцо, вдохнул колючий воздух и поёжился — не столько от холода, сколько от удовольствия. Он любил эту пору: когда всё укутано, убрано, и можно наконец заняться тем, на что вечно не хватало времени в тёплые месяцы.

Сегодня он задумал печь. Не просто так, а по всем правилам — с записями в старой тетради, с пересыпанием муки, с долгим ожиданием у печи. И конечно, он уже знал, что понесёт готовое Ёжику и Лисичке: нести что-то тёплое, только из печи, через заснеженный лес — в этом был свой, особенный уют.

Он достал из шкафа коробку с рецептами, собранными за долгую жизнь. Каждый был написан от руки, на разных клочках бумаги: где-то чернилами, где-то карандашом, где-то — торопливым почерком, какой бывает, только когда очень хочется записать, пока не забыл.

Дядюшка Барсук перебирал их, как перебирают старые письма. Вот рецепт медовых пряников от бабушки — его первого друга по кухне. Вот слоёные пирожки, которым научил его мельник. Вот засолка грибов от белки-соседки — та собирала грибы быстрее всех в лесу, сушила их на ветках,

а солила в крошечных бочонках, и однажды, в обмен на баночку облепихового варенья, не глядя отдала Барсуку свой секрет. А вот...



Дядюшка Барсук улыбнулся и бережно разгладил страницу.

Перечитав написанное, он отложил тетрадь и принялся за

дело. Достав тыкву — тяжёлую, золотистую, ту самую, что вызревала на солнечной грядке всё лето и впитала в себя весь августовский свет, — нарезал её крупными ломтями и отправил в печь, чтобы стала мягкой и податливой, и ждал ровно двадцать минут, поглядывая на огонь и слушая, как дрова тихо потрескивают за чугунной дверцей. А когда тыква согрелась и размягчилась, он растёр её бережно, с той особенной тщательностью, с какой обращаются только с тем, что выращено своими руками, влил растительное масло, молоко, добавил сахар и яйцо, всыпал муку, корицу, мускатный орех и щепотку разрыхлителя, и всё это перемешал — недолго, ровно столько, сколько нужно, потому что тесто не любит суеты и долгих раздумий, оно любит, когда всё делается легко и с тихой радостью.

На кухне запахло корицей, мускатным орехом и чем-то ещё — тем самым, чему нет названия, но что всегда появляется, когда готовят с душой. За окном падал снег, укрывая лес пушистым одеялом, а в доме дядюшки Барсука было тепло и уютно. И где-то наверху, на заснеженной ветке, синичка уже предвкушала крошки, которые ей обязательно перепадут.

А Ёжик с Лисичкой в это время смотрели на дым из печной трубы дядюшки Барсука. Дым поднимался в небо, лёгкий и белый, как обещание скорого угощения.

Зимний вечер

Бывают такие дни, когда хотелось бы подтолкнуть время — так же, как гружённую бочками телегу дядюшки Барсука, — чтобы оно сдвинулось с места, ускорилось и покатилося быстрее к вечеру. Зимний день тянется особенно долго — свет уходит рано, ещё до того, как по-настоящему разгорится, и остаётся только серое, низкое небо, и тишина, и морозный воздух, от которого першит в горле, и ты сидишь у окна, смотришь на голые ветви и ждёшь, когда же наконец стемнеет. Не потому что день плох — день тоже хорош, в нём есть свои заботы и свои радости, — а потому что вечер обещает покой. Вечер обещает, что можно наконец остановиться, выдохнуть, закутаться в плед и никуда не спешить.

Ёжик любил вечер, особенно зимний. Вот и сегодня бесцветность хмурого дня сменилась темнотой, и сквозь кроны деревьев стали видны звёзды — сначала робко, одна за другой, будто пробуя, можно ли уже, потом всё увереннее, и вот уже всё небо усеяно ими, колючими, яркими, какими они бывают только в мороз.

«Будет мороз», — подумал он, а вслух сказал:

— Надо бы достать ещё варенья.

— Куда ещё?! — засмеялась Лисичка. — Ты так все запасы растратишь, и до первых ягод не хватит!

— Хватит! — отмахивается Ёжик. — Ты же знаешь, у ме-

ня большой подвал.

— Знаю, — Лисичка покачала головой, но в глазах её плясали смешинки. — Ты каждый раз говоришь «большой подвал», а потом я захожу туда и вижу, что банки стоят в три ряда и уже занимают место, которое ты отводил для солений.

— Соленья тоже там, — возразил Ёжик. — Они в другом углу. У них своя территория. Мы с ними договорились.

— С соленьями? Ты договорился с соленьями?

— Ну да. Я им сказал: вы здесь, а варенье там. Они согласились. Соленья вообще покладистые. Не то что варенье. Варенье вечно норовит занять чужое место.

Лисичка рассмеялась — тем самым смехом, который Ёжик любил больше всего, смехом, похожим на звон маленького колокольчика, — и покачала головой.

— Ты невозможный, — сказала она. — Ладно, доставай своё варенье. Какое сегодня?

— Брусничное, — ответил Ёжик, уже направляясь к погребу. — Или вишнёвое. Или... — он замялся. — Может, всё-таки помидорное?

— Помидорное?! — Лисичка всплеснула лапами. — Ты серьёзно? После всего, что говорил дядюшка Барсук?

— Дядюшка Барсук его даже не пробовал! — возразил Ёжик. — Он просто увидел банку и сказал: «Это противостоительно». Но он всегда так говорит, когда видит что-то новое. Он долго ворчал, а потом тайком попробовал и сказал: «В этом что-то есть, но я всё ещё против»?

— А потом съел полбанки, — уточнила Лисичка. — И попросил добавки. И сделал вид, что это не он.

— Вот именно! — Ёжик торжествующе поднял лапу. — Так что помидорное имеет право на существование. Но сегодня, так и быть, откроем брусничное. Оно терпкое. Зимнее.

Он спустился в подвал и замер на пороге, как замирал каждый раз, когда видел эти ряды — ровные, как солдаты на параде, баночки, каждая подписана, каждая со своей историей. Вот вишнёвое — они собирали вишню в июне, в саду дядюшки Барсука, и Лисичка тогда упала с лестницы, но удержала корзину, и ягоды не рассыпались. Вот клубничное — с пригорка, где солнце особенно жаркое, и ягоды были такими сладкими, что сахара пришлось добавить меньше обычного. Вот яблочное — из тех яблок, что принесла Выдра в прошлом году, сказав: «Они сами упали в лодку, честное слово». Вот клюквенное — с болота, куда Ёжик ходил один, потому что Лисичка боялась промочить лапы, и вернулся с целой корзиной и мокрыми ушами.

Всю прошлую весну и начало лета он расширял его. Теперь от пола до потолка на стеллажах стояли разного размера баночки: с вишнёвым, клубничным, брусничным, клюквенным, малиновым, яблочным вареньем. Да какого только там не было варенья. Даже помидорное было сварено, оно варилось под яростные протесты дядюшки Барсука, который был убеждён, что помидоры не для того росли, чтобы их смешивали с сахаром. Но Ёжик всё равно сварил — не из упрям-

ства, а из любопытства, и теперь эта банка стояла в углу, как памятник научному эксперименту. А больше варенья у него было только сушёных трав для чая — мята, чабрец, липовый цвет, земляничный лист, душица, зверобой, — и все эти травы висели под потолком пучками, связанными бечёвкой, и пахли летом, лугом, солнцем, и когда Ёжик спускался в подвал за вареньем, он всегда на минутку замирал, вдыхая этот запах, и думал о том, что лето никуда не ушло — оно просто переехало в подвал и ждёт своего часа.

Соления занимали тоже немалую часть подвала. Огурцы, патиссоны, баклажаны, кукуруза и грибы — они стояли в другом углу, как и было договорено, и действительно вели себя смирно, не претендуя на чужое пространство.



Но всё это и за пять зим в одиночку Ёжик не съел бы, но он всегда всех угощал. Не ради благодарности — благодарность он принимал смущённо, отводя глаза и бормоча что-то о том, что «варенье не моё, это ягоды постарались». Не ради похвалы — похвала его смущала ещё больше. А ради того момента, когда кто-то — Выдра, или Барсук, или Като, или

кто-то из мышей — заглянет в гости, и он сможет сказать: «У меня есть брусничное. Будешь?» И пойти в подвал, и достать банку, и открыть её, и выложить в вазочку, и смотреть, как гость ест, и чувствовать, как внутри разливается тепло — не от чая, не от печи, а от чего-то другого, чему нет названия, но что, наверное, и есть счастье.

Он выбрал брусничное — ту самую банку, что стояла на средней полке, с чуть потёртой этикеткой, — и поднялся наверх. Лисичка уже заварила чай и достала булочки — те, что вчера испекла и сказав, что они получились особенно удачными. Ёжик открыл банку, и по кухне поплыл запах — терпкий, чуть горьковатый, пахнувший осенним лесом и первыми заморозками.

Лисичка посмотрела на своего друга и подумала, что тепло его доброго сердца согревало всё вокруг. Она смотрела на него — на то, как он трет кончик носа, как он отмахивается лапой, когда что-то говорит, как он улыбается уголком рта, когда думает, что никто не видит, — и чувствовала, как внутри разливается покой. Долгие, холодные зимние вечера становились тёплыми и яркими, а близкие — более счастливыми и радостными. И не в варенье было дело, и не в чае, и не в булочках, а в том, что они сидели здесь, вместе, и за окном падал снег, и звёзды горели в темноте, и время наконец-то перестало спешить.

Странствующий Фонарщик

Ночь была тёмной и безлунной, ни одна звёздочка не проснулась в эту ночь — то ли спали крепко, укутавшись в облака, то ли ушли куда-то далеко-далеко, к Звёздному пастуху на его небесные пастбища, и небо висело над лесом глубокое, бархатное, совершенно пустое и тёмное.

Ёжик сидел у себя на кухне, заварив ароматный земляничный чай, и пар от кружки поднимался медленно, лениво, словно и он понимал, что спешить в такую ночь некуда. Чай пах летом — той самой земляникой, что собирали они с Лисичкой на прогретом солнцем пригорке, — и от этого запаха в кухне становилось уютно и чуть-чуть грустно, как всегда бывает, когда вспоминаешь тёплое посреди темноты ночи.

Он поднёс кружку к губам и посмотрел в окно. И замер. Там, в глубине леса, один за другим загорались огоньки — не звёзды, нет, звёзды спали, — а маленькие золотые точки, которые вспыхивали на деревьях, как если бы кто-то шёл по лесу и касался веток, и ветки в ответ зацветали светом. Огоньки не горели ярко, не слепили — они мерцали мягко, уютно, будто говорили: не бойся, ночь не страшна, ночь просто ещё не зажглась как следует.

Ёжик знал, кто это. Это был Странствующий Фонарщик — тот, кто появлялся в лесу в самые тёмные ночи, когда свет был особенно нужен. Он зажигал фонари на деревьях, и фо-

нари эти были не простые: с первыми лучами солнца они растворялись, таяли, как капли дождя на рассвете, не оставляя ни следа, ни копоты, ни ожога на коре — только память о свете.

Фонарщик был высоким и стройным, двигался неторопливо, будто время для него текло иначе — гуще, медленнее, — и тёмно-синий сюртук его был сшит, казалось, из самой ночи, той глубокой, бархатной, что висит сейчас за окном, а пуговицы на сюртуке — золотые, как звёзды, которые всё-таки проснулись бы, если бы не ушли пастись. На отворотах вились золотые узоры, тонкие, как паутина в утренней росе, и когда он подходил к дереву и поднимал руку, узоры эти на мгновение вспыхивали, будто приветствуя новый огонёк, готовый зажечься.

Никто не знал, откуда он приходит и куда уходит потом, да и сам Фонарщик вряд ли смог бы ответить на этот вопрос — он просто шёл, и шёл, и шёл, ведомый не картой и не целью, а чем-то совсем другим, чему нет названия, но что ощущается как тихое, ровное тепло где-то под сердцем. Он любил ночь не за то, что она тёмная, а за то, что в ней можно зажечь свет, — и в этом была вся его суть, вся его радость и вся его печаль одновременно. Потому что свет, который он зажигал, никогда не оставался навсегда: с первыми лучами солнца фонари таяли, растворялись, как будто их не было, — и каждое утро он провожал их тихим взглядом, без сожаления, но с лёгкой, почти прозрачной грустью, какая бывает

только у тех, кто умеет любить, не удерживая.

И всё же он знал — знал глубоко и спокойно, как знают деревья о приходе весны, — что свет не исчезает бесследно. Что каждый зажжённый фонарь остаётся где-то: в памяти леса, в благодарном молчании ветвей, в глазах того, кто случайно выглянул в окно и вдруг понял, что ночь не так темна, как казалось. И от этого знания в груди у Фонарщика разливалась тихая радость — не бурная, не громкая, а та, что похожа на ровное пламя свечи: не обжигает, но греет.



Иногда, в особенно тёмные ночи, когда небо совсем пусто и даже Звёздный пастух уводил свои стада далеко-далеко, Фонарщик чувствовал тоску — странную, тягучую, как старая мелодия, слов которой уже не помнишь. Он думал о том, что мир огромен, а фонарей у него всегда ровно столько, сколько нужно, и что он никогда не успеет зажечь свет везде,

где темно. Но тоска эта была не горькой, а почти сладкой — она напоминала ему, что он жив, что сердце его бьётся, что он не просто идёт, а чувствует и живёт.

И тогда он останавливался на мгновение, поднимал голову к небу, даже если небо было пустым, и улыбался — небу, ночи, лесу, себе самому. Потому что счастье для него было не в том, чтобы осветить весь мир, а в том, чтобы зажечь один-единственный фонарь именно там, где он нужнее всего. И он зажигал. Всегда зажигал. Шёл дальше и зажигал снова.

Ёжик смотрел на это, позабыв про чай, и ему казалось, что Фонарщик не просто зажигает фонари — он разговаривает с лесом на языке, которого никто, кроме леса, не понимает. И лес отвечает ему — тихим скрипом ветвей, шорохом листвы, благодарным молчанием.

А Фонарщик шёл дальше. И там, где он проходил, ночь переставала быть пустой.

Туман

Туман пришёл под утро, как всегда без стука, — он вообще не умел стучать, да и зачем, если двери для него не преграда, — просочился сквозь щель в оконной раме, залюбился у порога, собрался в знакомый силуэт, полупрозрачный, чуть колышущийся, будто отражение в воде, и дядюшка Барсук, не оборачиваясь от мольберта, сказал: «А, это ты» — и продолжил водить кистью, потому что прерываться на приветствия со старым другом было незачем.

Они были очень разные — один плотный, земной, пахнущий корицей и табаком, другой сотканный из воздуха и влаги, неуловимый, вечно меняющий очертания, — но в одном они совпадали целиком и полностью, без остатка: оба любили мир, который их окружал, любили его форму и его туманную душу, любили свет и тень, контур и размытость, точную линию и полунамёк. Поэтому и дружили. Поэтому и молчали вместе так легко.

Познакомились они давно, ещё когда дядюшка Барсук не был дядюшкой — никто не называл его так, потому что и усов у него тогда не было, и седины, и степенности, — а был он худым, порывистым юношей, который поднимался до рассвета, брал альбом и краски и шёл к реке рисовать. Рисовать он мог всё что угодно, но чаще всего — утро. То самое, которое наступает медленно, неохотно, когда туман встаёт над

водой, и река ещё спит, и мир ещё не решил, каким ему быть сегодня.

Вот в такое утро он и увидел его впервые. Вернее, сначала не увидел — просто почувствовал, что он не один. Что кто-то стоит за спиной и смотрит. И не просто смотрит — понимает. Понимает, почему он выбрал именно этот берег, именно этот час, именно этот оттенок синего для неба, которое ещё даже не проступило. Барсук обернулся — и увидел Туман. Тот не стал притворяться просто погодой. Принял форму. Сгустился. И тихо, одними глазами — если можно назвать глазами два сгустка утреннего света — сказал: «Продолжай».

Они просидели у реки до полудня. Барсук рисовал. Туман смотрел. А когда солнце поднялось высоко и Туман начал таять, он пообещал вернуться. И вернулся. Не на следующий день, конечно, — он был всё-таки Туман, а не почтальон, — но с тех пор стал приходить.

Теперь, спустя много лет, они по-прежнему встречались. Иногда Туман заглядывал к домику дядюшки Барсука — просачивался сквозь раму, обволакивал мольберт, заглядывал в чашку с чаем, и они подолгу молчали, каждый занятый своим: один рисовал, другой созерцал. А иногда дядюшка Барсук сам шёл к реке, к тому самому месту, где когда-то неуклюжий юнец впервые почувствовал на себе взгляд без глаз, — и они снова сидели рядом, как тогда, как всегда.

И никто из них не считал, сколько лет прошло. Потому что

время для тех, кто занят искусством и туманом, течёт иначе — не по часам, а по свету, по теням, по медленному движению кисти и такому же медленному движению облаков.



А ещё они оба любили чай. Дядюшка Барсук заваривал себе в большой глиняной кружке густой облепиховый — ян-

тарный, почти маслянистый, собранный поздней осенью, когда первые морозы уже тронули ягоды и сделали их слаще, — заваривал долго, с мёдом и палочкой корицы, привезённой Като из дальних стран, и по всему дому разливался такой тёплый, пряный аромат, что даже старые половицы, казалось, вспоминали лето. А для друга он ставил вторую кружку, не пустую — в ней был заварен чай из луговых трав и липового цвета, лёгкий, прозрачный, пахнувший июльским разнотравьем и чуть-чуть — пчелиным воском. Из горячего пара над кружкой медленно сгущалась вторая — туманная, зыбкая, колышущаяся, сотканная из того же вещества, что и сам гость.

Туман брал её бережно, подносил к тому месту, где могли бы быть губы, и пил — и чай был для него не вкусом, а ощущением, тёплой памятью о том, как это — быть плотным, телесным, иметь лапы и кружку, и возможность сидеть на веранде и смотреть на закат, а не быть им. И дядюшка Барсук понимал это без слов. Он вообще многое понимал без слов — не зря же дружил с Туманом.

Звёздный пастух

Говорят, что раз в год, в самую долгую ночь, в лес приходил Звёздный пастух. Никто не знает, откуда он и куда уходит потом. Като однажды говорил с ним — и с тех пор на все расспросы только улыбался и качал головой. Не потому что не хотел рассказать. А потому что не знал как.

Высокие сапоги его были чёрными, как самая тёмная ночь — та, что бывает перед рассветом, когда звёзды уже гаснут, а солнце ещё не встало. Шаровары — глубокого синего цвета, будто само небо поделилось глубиной синевы. А жилет... Жилет был соткан из света звёзд и переливов — он мерцал, дышал, жил своей жизнью. Глядя на него, нельзя было понять: то ли звёзды отражаются в ткани, то ли ткань сама рождает звёзды.

Глаза у Звёздного пастуха были смеющиеся. Он смотрел на мир так, будто знал о нём что-то очень прекрасное, таинственное, скрытое от всех, и не торопился рассказывать.

Смех его был как переливы. Тихий, негромкий, но глубокий — будто колокольчик и ручей договорились звучать вместе. Он не смеялся часто, но когда смеялся, звёзды на его жилете вспыхивали ярче.

Зачем он приходит? Говорили, что он обходит лес, проверяя, всё ли в нём в порядке. Ещё говорили, что где-то далеко, за холмами, есть небесные пастбища, и звёзды — это

не просто огоньки, а живые существа, которым нужен пастух. Правда это или нет — никто не знал. Но в самую долгую ночь, когда мороз рисовал узоры на окнах, а Ёжик и Лисичка сидели у печи, где-то на краю леса мягко светился жилет — и смеющиеся глаза смотрели сквозь темноту.

Като встретил его не в родном лесу, а в горах, в тех самых горах, откуда потом привёз гладкий камень для Ёжика и краски с нимфой для дядюшки Барсука, — встретил глубокой ночью, когда не спалось, когда воздух был прозрачен и тонок, а звёзды над ущельем висели так низко, что, казалось, протяни лапу — и заденешь.



Он вышел из палатки просто подышать и увидел свет — неяркий, мерцающий, будто кто-то рассыпал горсть звёзд по склону и забыл собрать, — и, разумеется, пошёл на этот свет, потому что любопытство всегда вело его правильно, оно никогда не обманывало, оно было его компасом и картой.

Звёздный пастух сидел на камне над самым обрывом и смотрел не столько в небо, сколько сквозь него — туда, куда обычный глаз не достаёт, куда и не всякая мысль долетит, — и был он одновременно и молод, и зрел, и вовсе без возраста, как бывает только во сне или в самую долгую ночь года.

Като не спросил «кто ты», потому что вопросы были не нужны, потому что ответ уже звучал в самом воздухе, в самом мерцании жилета, сотканного из света и переливов, — он просто сел рядом, и они замолчали вместе, и молчание это было не пустым, а полным, как небо над головой, полным реки, шумящей где-то далеко внизу, полным дыхания гор, полным тихого, едва уловимого звона — будто где-то на небесных пастбищах перекликались невидимые стада.

А потом Звёздный пастух заговорил — тихо, негромко, будто продолжая разговор, который они никогда не начинали, но который длился всегда, — и говорил он о том, что звёзды тоже устают, что за ними нужно присматривать, что есть места, где небо тонкое, как старая ткань, и если прислушаться, если приглядеться, можно увидеть сквозь него совсем другие миры, — и ещё он сказал, что мост, который

Като строил с жителями горной деревни, это не просто мост, а нить, и теперь два берега связаны не только деревом и верёвками, а чем-то ещё, чему нет названия, но что обязательно отзовётся когда-нибудь.

Като слушал, и слушал, и слушал, и не всё понимал, но внутри разливалось тепло — такое же, как в детстве у печи, когда за окном снег, а в доме пахнет хлебом и можно никуда не спешить.

Под утро Звёздный пастух растворился — сначала исчез жилет, сотканный из переливов, потом погасли смеющиеся глаза, а потом где-то далеко-далеко прозвенел тихий смех, похожий на колокольчик и ручей вместе, — и остался лишь камень на том месте, где он сидел, гладкий и тёплый, а на камне природа изобразила горы и лес, будто на память, будто в благодарность за ночной разговор.

Като положил камень в свой рюкзак и пошёл дальше — туда, куда вела тропа и любопытство.

Старый Дуб

Если идти через лес не по тропинке, а как идёт ветер — свободно, куда глаза глядят, — то рано или поздно выйдешь на поляну меж трёх холмов, где растёт Старый Дуб. Он так высок, что в его кроне иногда засыпают облака, а корни его так широки и глубоки, что, кажется, обнимают весь лес под землёй, связывая его в единое целое — и каждый ручей, и каждый камень, и каждую нору.

В корнях этого Дуба приютился маленький домик с расписными ставенками, и ставенки эти голубеют васильками и ромашками, а наличники украшены тонкой резьбой — колосками и дубовыми листьями, и всякий, кто проходит мимо, невольно замедляет шаг и улыбается, сам не зная чему. Домик врос в корни так ладно, так естественно, будто не люди и не звери его строили, а сам Дуб однажды решил, что под ним должно быть чьё-то тёплое жилище, и вырастил его из земли, из мха, из собственной доброй воли.



В домике живёт Мышиная семья — мама, папа и целый выводок мышат, шустрых, любопытных, с глазами-бусинками и хвостиками, которые никогда не знают покоя. День их начинается с возни, с писка, с топота крошечных лапок по деревянному полу, с запаха свежееиспечённых зёрен и травяного чая, и нет в этом доме ни минуты тишины, кроме той

самой, что наступает поздно вечером, когда мышата, уставшие от игр, сворачиваются клубочками в своих кроватках, а мама зажигает свечу и тихо штопает одеяльца, и в этом пламени, в этом тёплом золотом огоньке тоже есть жизнь — тихая, глубокая, полная заботы. Папа-мышь работает в лесной пекарне, той, что у старой мельницы, и каждый вечер приносит домой крошечную булочку, ещё тёплую, и мышата делят её на всех, и крошки падают на стол, и никто не ругается, потому что крошки — это тоже часть уюта.

Мышиная ребятня обожает резвиться у корней Дуба, где земля мягкая и тёплая, где можно играть в прятки среди узловатых отростков, гоняться друг за другом, кувыркаться в траве и слушать, как глубоко под землёй гудят древние, неспешные мысли — те, что поднимаются от корней к самым ветвям и обратно. Иногда мимо проходит дядюшка Барсук с мольбертом под мышкой, останавливается, смотрит на мышиную возню и улыбается в усы, и мышата на мгновение замирают, потому что Барсука уважают, но он только машет лапой — играйте, мол, — и идёт дальше. Иногда пробегает Лисичка с корзинкой ягод и угощает каждого мышонка, и они пищат от радости, потому что Лисичка всегда помнит, кому нравится земляника, а кому — черника. Иногда приходит Ёжик, садится на пенёк неподалёку и просто смотрит, как мышата играют, и в такие минуты ему кажется, что он смотрит на самую жизнь — простую, бесконечно милую, бесконечно правильную.

Но самое любимое время у мышат — это вечер, когда солнце клонится к закату и воздух становится золотым и густым. Тогда они забираются выше, по шершавой коре, цепляясь крошечными коготками за трещинки и выступы, и рассаживаются на толстой ветке, той самой, что простирается над всей поляной, как рука старого великана. И Старый Дуб начинает говорить.

Дубу много тысяч лет, и он помнит времена, когда лес был ещё моложе, а река только прокладывала себе путь к морю, но для самого Леса — того огромного, живого, дышащего существа, что раскинулось от горизонта до горизонта, — Дуб ещё совсем юный, почти мальчишка, потому что Лес существует так давно, что даже тысячелетия для него — как дни для смертных. А для всех обитателей леса — для Ёжика, для Лисички, для дядюшки Барсука, для Выдры, для Мышиной семьи — Дуб есть мудрый старец, свидетель бесчисленных поколений, хранитель памяти.

Он знал прадедушек и прабабушек этих мышат, и тех, кто жил в корнях задолго до того, как певый камень был положен в фундамент домика с расписными ставенками. Он знал их имена, их голоса, их маленькие радости и маленькие печали, и хранил их в своей древесной памяти, как хранят старые письма в шкатулке. И он знает, что жизнь течёт по-разному: для одних она — долгое, медленное путешествие через века, для других — яркая вспышка, которая длится лишь несколько вёсен и зим. Но в этом нет ни превосходства, ни

снисхождения, ни печали, ни горечи. Дуб любит рассказывать сказки — тем, кто готов слушать. И делится мудростью — если его просят. И неважно, сколько отмерено слушателю: несколько десятилетий или несколько тысячелетий. Потому что мудрость — это не то, что измеряется временем. Это то, что измеряется любовью.

И сейчас, когда мышата сидят на его ветке, свесив хвостики и затаив дыхание, Дуб начинает свой рассказ — о том, как звёзды впервые увидели лес, о том, как река училась течь, о том, как маленький жёлудь однажды решил стать великим деревом. И голос его — не тот, что можно услышать ушами, а тот, что проникает прямо в сердце, тихий, глубокий, как гул земли, — обволакивает мышат, и они слушают, слушают, слушают, пока луна не поднимается высоко над кроной, а мама-мышь не зовёт их домой, и тогда они спускаются вниз, к тёплому домику в корнях, и засыпают, и снятся им сказки, которые ещё не закончились и никогда не закончатся, потому что Старый Дуб помнит всё и любит всех, и в этой любви нет ни конца, ни края, ни срока давности.

Папа-мышь

Конец лета — то удивительное время, когда мир ещё полон тепла, но в нём уже появляется едва уловимая, почти прозрачная нота прощания, как будто каждый солнечный луч знает, что он один из последних, и от этого светит немного иначе: мягче, задумчивее, с той особенной нежностью, с какой смотрят на то, что скоро уйдёт. Трава на лугу ещё зелёная, но кое-где уже тронута первой, робкой желтизной, а в воздухе, особенно по утрам, стоит тот особенный запах — смесь созревших яблок, влажной земли и далёкого дыма, — который говорит без слов: лето заканчивается, но не печальтесь, в этом тоже есть красота.

Мышата ещё спали — спали рядком, свернувшись клубочками, похожие на горстку тёплых пушистых камешков, и каждый из них видел свой собственный сон, сотканный из вчерашних игр и позавчерашних открытий. Младший чуть посапывал, пошевеливая усами, и папа-мышь, уже одетый в свою рабочую курточку, на мгновение задержался, глядя на них, и почувствовал, как внутри разливается то особое, ни на что не похожее тепло, которое приходит только тогда, когда смотришь на спящих детей. Он поцеловал жену в лоб — она приоткрыла один глаз, улыбнулась уголком рта и снова закрыла — и вышел, тихо притворив за собой дверь.

Тропинка вела от корней Старого Дуба вниз, к реке, и по

этой тропинке он ходил каждое утро вот уже много лет. Лес постепенно просыпался: сначала робко, одной-двумя птицами, попробовавшими голос и замолчавшими, словно спрашивая: «Уже можно?», потом всё увереннее, и к тому моменту, когда папа-мышь подходил к реке, воздух уже звенел от пения, а над водой поднимался лёгкий пар — Туман, старый знакомый дядюшки Барсука, ещё не ушёл, но уже собирался, прощаясь с рекой до следующего утра.

Мельница стояла на границе леса и поля, там, где река делала широкий, плавный поворот, будто нарочно замедляясь, чтобы отдать свою силу колесу, — и колесо это никогда не останавливалось, пело свою монотонную, убаюкивающую песню. За мельницей уходили вдаль поля — золотые, бескрайние, колосья клонились под тяжестью зерна. А за полями вставали горы, синие в утренней дымке, как воспоминание о чём-то, чего никогда не было, но что всегда где-то рядом. Папа-мышь на мгновение остановился, глядя на этот простор, и почувствовал, как сердце его наполняется чем-то невообразимо прекрасным и светлым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.